



На Западном фронте
без перемен



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44
Р37

Серия «Зарубежная классика»

Erich Maria Remarque
IM WESTEN NICHTS NEUES

Перевод с немецкого Ю.Н. Афонькина

Компьютерный дизайн А.И. Смирнова

Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.

Ремарк, Эрх Мария.

Р37 На Западном фронте без перемен : [роман] / Эрх Мария Ремарк; [пер. с нем. Ю.Н. Афонькина]. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 317, [3] с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-085465-3

Их вырвали из привычной жизни...

Их швырнули в кровавую грязь войны...

Когда-то они были юношами, учившимися жить и мыслить.

Теперь они — пушечное мясо. Солдаты.

Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой мировой.

Тысячи и тысячи вернувшихся еще пожалеют, что не легли вместе с убитыми.

Но пока что — на Западном фронте все еще без перемен...

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1929
© Перевод. Ю.Н. Афонькин, наследники, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов.

I

Мы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас сменили; сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку; сверх того мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы, — словом, живем неплохо. Такого с нами давненько уже не случилось: наш кухонный бог со своей багровой, как помидор, лысиной сам предлагает нам поесть еще; он машет черпаком, зазывая проходящих, и отваливает им здоровенные порции. Он все никак не опорожнит свой «пищемет», и это приводит его в отчаяние. Тьяден и Мюллер раздобыли откуда-то несколько тазов и наполнили их до краев — про запас. Тьяден сделал это из обжорства, Мюллер — из осторожности. Куда девается все, что съедает Тьяден, — для всех нас загадка. Он все равно остается тощим, как се-ледка.

Но самое главное — курево тоже было выдано двойными порциями. На каждого по десять сигар, двадцать сигарет и по две плитки жева-

тельного табаку. В общем, довольно прилично. На свой табак я выменял у Катчинского его сигареты, итого у меня теперь сорок штук. Один день протянуть можно.

А ведь, собственно говоря, все это нам вовсе не положено. На такую щедрость начальство не способно. Нам просто повезло.

Две недели назад нас отправили на передовую сменять другую часть. На нашем участке было довольно спокойно, поэтому ко дню нашего возвращения каптенармус получил довольствие по обычной раскладке и распорядился варить на роту в сто пятьдесят человек. Но как раз в последний день англичане вдруг подбросили свои тяжелые «мясорубки», пренеприятные штуковины, и так долго били из них по нашим окопам, что мы понесли тяжелые потери, и с передовой вернулось только восемьдесят человек.

Мы прибыли в тыл ночью и тотчас же растянулись на нарах, чтобы первым делом хорошенько выспаться; Катчинский прав: на войне было бы не так скверно, если бы только можно было побольше спать. На передовой ведь никогда толком не поспишь, а две недели тянутся долго.

Когда первые из нас стали выползать из барраков, был уже полдень. Через полчаса мы прихватили наши котелки и собрались у дорогого нашему сердцу «пищемета», от которого пахло чем-то наваристым и вкусным. Разумеется, первыми в очереди стояли те, у кого всегда самый

большой аппетит: коротышка Альберт Кропп, самая светлая голова у нас в роте и, наверно, поэтому лишь недавно произведенный в ефрейторы; Мюллер Пятый, который до сих пор таскает с собой учебники и мечтает сдать льготные экзамены: под ураганным огнем зубрит он законы физики; Леер, который носит окладистую бороду и питает слабость к девицам из публичных домов для офицеров: он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше — брать ванну; четвертый — это я, Пауль Боймер. Всем четверым по девятнадцати лет, все четверо ушли на фронт из одного класса.

Сразу же за нами стоят наши друзья: Тьяден, слесарь, тщедушный юноша одних лет с нами, самый прожорливый солдат в роте — за еду он садится тонким и стройным, а поев, встает пухатым, как насосавшийся клоп; Хайе Вестхус, тоже наш ровесник, рабочий-торфяник, который свободно может взять в руку буханку хлеба и спросить: «А ну-ка отгадайте, что у меня в кулаке?»; Детеринг, крестьянин, который думает только о своем хозяйстве и о своей жене; и, наконец, Станислав Катчинский, душа нашего отделения, человек с характером, умница и хитрюга, — ему сорок лет, у него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи и необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел,

где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства.

Наше отделение возглавляло очередь, образовавшуюся у кухни. Мы стали проявлять нетерпение, так как ничего не подозревавший повар все еще чего-то ждал.

Наконец Катчинский крикнул ему:

— Ну, открывай же свою обжорку, Генрих!

И так видно, что фасоль сварилась!

Повар сонно покачал головой:

— Пускай сначала все соберутся.

Тьяден ухмыльнулся:

— А мы все здесь!

Повар все еще ничего не заметил:

— Держи карман шире! Где же остальные?

— Они сегодня не у тебя на довольствии! Кто в лазарете, а кто и в земле!

Узнав о происшедшем, кухонный бог был сражен. Его даже пошатнуло:

— А я-то сварил на сто пятьдесят человек!

Кропп ткнул его кулаком в бок:

— Значит, мы хоть раз наедемся досыта. А ну давай, начинай раздачу!

В эту минуту Тьядена осенила внезапная мысль. Его острое, как мышьяная мордочка, лицо так и засветилось, глаза лукаво сощурились, скулы заиграли, и он подошел поближе:

— Генрих, дружище, так, значит, ты и хлеба получил на сто пятьдесят человек?

Огорошенный повар рассеянно кивнул.

Тьяден схватил его за грудь:

— И колбасу тоже?

Повар опять кивнул своей багровой, как помидор, головой. У Тьядена отвисла челюсть:

— И табак?

— Ну да, все.

Тьяден обернулся к нам, лицо его сияло:

— Черт побери, вот это повезло! Ведь теперь все достанется нам! Это будет — обождите! — так и есть, ровно по две порции на нос!

Но тут Помидор снова ожил и заявил:

— Так дело не пойдет.

Теперь и мы тоже стряхнули с себя сон и протиснулись поближе.

— Эй ты, морковка, почему не выйдет? — спросил Катчинский.

— Да потому, что восемьдесят — это не сто пятьдесят!

— А вот мы тебе покажем, как это сделать, — проворчал Мюллер.

— Суп получите, так и быть, а хлеб и колбасу выдам только на восемьдесят, — продолжал упорствовать Помидор.

Катчинский вышел из себя:

— Послать бы тебя самого разок на передовую! Ты получил продукты не на восемьдесят человек, а на вторую роту, баста. И ты их выдай! Вторая рота — это мы.

Мы взяли Помидора в оборот. Все его недолюбливали: уже не раз по его вине обед или ужин

попадал к нам в окопы остывшим, с большим опозданием, так как при самом пустяковом огне он не решался подъехать со своим котлом поближе и нашим подносчикам пищи приходилось ползти гораздо дальше, чем их собратьям из других рот. Вот Бульке из первой роты, тот был куда лучше. Он хоть и был жирным, как хомяк, на уж если надо было, то тасил свою кухню почти до самой передовой.

Мы были настроены очень воинственно, и, наверно, дело дошло бы до драки, если бы на месте происшествия не появился командир роты. Узнав, о чем мы спорим, он сказал только:

— Да, вчера у нас были большие потери...

Затем он заглянул в котел:

— А фасоль, кажется, неплохая.

Помидор кивнул:

— Со смальцем и с говядиной.

Лейтенант посмотрел на нас. Он понял, о чем мы думаем. Он вообще многое понимал — ведь он сам вышел из нашей среды: в роту он пришел унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла и понюхал. Уходя, он сказал:

— Принесите и мне тарелочку. А порции раздать на всех. Зачем добру пропадать.

Физиономия Помидора приняла глупое выражение. Тяяден приплясывал вокруг него:

— Ничего, тебя от этого не убудет! Воображает, будто он ведает всей интендантской служ-

бой. А теперь начинай, старая крыса, да смотри не просчитайся!..

— Сгинь, висельник! — прошипел Помидор. Он готов был лопнуть от злости; все происшедшее не укладывалось в его голове, он не понимал, что творится на белом свете. И как будто желая показать, что теперь ему все едино, он сам роздал еще по полфунта искусственного меду на брата.

День сегодня и в самом деле выдался хороший. Даже почта пришла; почти каждый получил по несколько писем и газет. Теперь мы не спеша бредем на луг за бараками. Кропп несет под мышкой круглую крышку от бочки с маргарином.

На правом краю луга выстроена большая солдатская уборная — добротное срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев, которые еще не научились из всего извлекать пользу. Для себя мы ищем кое-что получше. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для той же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон, с великолепным, очень удобным сиденьем. Сбоку у них есть ручки, так что кабины можно переносить.

Мы сдвигаем три кабины вместе, ставим их в кружок и неторопливо рассаживаемся. Раньше чем через два часа мы со своих мест не поднимемся.

Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах и нам впервые пришлось пользоваться общей уборной. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом — ведь солдат всегда должен быть под наблюдением.

С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам.

Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях — ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться, если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль и если их естественность не была бы для нас новинку — именно для нас, потому что для других она всегда была очевидной истиной.

Для солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, которая ему ближе, чем всем остальным людям. Его словарный запас на три четверти заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью ко-

торых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно. Когда мы вернемся домой, наши домашние и наши учителя будут здорово удивлены, но что поделаешь — здесь на этом языке говорят все.

Для нас все эти функции организма вновь приобрели свой невинный характер в силу того, что мы поневоле отправляем их публично. Более того: мы настолько отвыкли видеть в этом нечто зазорное, что возможность справиться свои дела в уютной обстановке расценивается у нас, я бы сказал, так же высоко, как красиво проведенная комбинация в скате¹ с верными шансами на выигрыш. Недаром в немецком языке возникло выражение «новости из отхожих мест», которым обозначают всякого рода болтовню; где же еще поболтать солдату, как не в этих уголках, которые заменяют ему его традиционное место за столиком в пивной?

Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем в самом комфортабельном туалете с белыми кафельными стенками. Там может быть чисто — и только; здесь же просто хорошо.

Удивительно бездумные часы... Над нами сильнее небо. На горизонте повисли ярко освещен-

¹ Скат — распространенная в Германии карточная игра. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

ные желтые аэростаты и белые облачка — разрывы зенитных снарядов. Порой они взлетают высоким снопом — это зенитчики охотятся за аэропланом.

Приглушенный гул фронта доносится до нас лишь очень слабо, как далекая-далекая гроза. Стоит шмелю прожужжать, и гула этого уже совсем не слышно.

А вокруг нас расстилается цветущий луг. Кольшутся нежные метелки трав, порхают капустницы; они плывут в мягком, теплом воздухе позднего лета; мы читаем письма и газеты и курим, мы снимаем фуражки и кладем их рядом с собой, ветер играет нашими волосами, он играет нашими словами и мыслями.

Три будки стоят среди пламенно-красных цветов полевого мака...

Мы кладем на колени крышку от бочки с маргарином. На ней удобно играть в скат. Кропп прихватил с собой карты. Каждый кон ската чередуется с партией в рамс¹. За такой игрой можно просидеть целую вечность.

От бараков к нам долетают звуки гармоника. Порой мы кладем карты и смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит: «Эх, ребята...» или: «А ведь еще немного, и нам всем была бы крышка...» — и мы на минуту умолкаем. Мы отдаемся властному, загнанному внутрь чувству, каждый

¹ Рамс — карточная игра.

из нас ощущает его присутствие, слова тут не нужны. Как легко могло бы случиться, что сегодня нам уже не пришлось бы сидеть в этих кабинах, — ведь мы, черт побери, были на волосок от этого. И поэтому все вокруг воспринимается так остро и заново — алые маки и сытная еда, сигареты и летний ветерок.

Кропп спрашивает:

— Кеммериха кто-нибудь из вас видел с тех пор?

— Он в Сен-Жозефе, в лазарете, — говорю я.

— У него сквозное ранение бедра — верный шанс вернуться домой, — замечает Мюллер.

Мы решаем навестить Кеммериха сегодня после обеда.

Кропп вытаскивает какое-то письмо:

— Вам привет от Канторека.

Мы смеемся. Мюллер бросает окурок и говорит:

— Хотел бы я, чтобы он был здесь.

Канторек, строгий маленький человечек в сером сюртуке, с острым, как мышьяная мордочка, личиком, был у нас классным наставником. Он был примерно такого же роста, что и унтер-офицер Химмельштос, «гроза Клостерберга». Кстати, как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от

людей маленького роста: у них гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких. Я всегда старался не попадать в часть, где ротами командуют офицеры невысокого роста: они всегда ужасно придираются.

На уроках гимнастики Канторек выступал перед нами с речами и в конце концов добился того, что наш класс, строем, под его командой, отправился в окружное военное управление, где мы записались добровольцами.

Помню как сейчас, как он смотрел на нас, поблескивая стеклышками своих очков, и спрашивал задушевым голосом: «Вы, конечно, тоже пойдете вместе со всеми, не так ли, друзья мои?»

У этих воспитателей всегда найдутся высокие чувства, ведь они носят их наготове в своем жилетном кармане и выдают по мере надобности поурочно. Но тогда мы об этом еще не задумывались.

Правда, один из нас все же колебался и не очень-то хотел идти вместе со всеми. Это был Иозеф Бем, толстый, добродушный парень. Но и он все-таки поддался уговорам, иначе он закрыл бы для себя все пути. Быть может, еще кое-кто думал, как он, но остаться в стороне тоже никому не улыбалось, — ведь в то время все, даже родители, так легко бросались словом «трус». Никто просто не представлял себе, какой оборот примет дело. В сущности, самыми

умными оказались люди бедные и простые — они с первого же дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил получше, совсем потеряли голову от радости, хотя они-то как раз и могли бы куда скорее разобраться, к чему все это приведет.

Катчинский утверждает, что это все от образованности, от нее, мол, люди глупеют. А уж Кат слов на ветер не бросает.

И случилось так, что как раз Бем погиб одним из первых. Во время атаки он был ранен в лицо, и мы сочли его убитым. Взять его с собой мы не могли, так как нам пришлось поспешно отступить. Во второй половине дня мы вдруг услышали его крик; он ползал перед окопами и звал на помощь. Во время боя он только потерял сознание. Слепой и обезумевший от боли, он уже не искал укрытия, и его подстрелили, прежде чем мы успели его подобрать.

Канторека в этом, конечно, не обвинишь — вменять ему в вину то, что он сделал, значило бы заходить очень далеко. Ведь Канторексов были тысячи, и все они были убеждены, что таким образом они творят благое дело, не очень утруждая при этом себя.

Но это именно и делает их в наших глазах банкротами.

Они должны были бы помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир